



М. ГОРЬКИЙ

Заметки о мещанстве

<Фрагмент>

<...>

Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёте. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране.

Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе пред виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти...

Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства.

В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его: «Нищета и невежество народа — вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы — кирпичи, оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает

всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ — раб и слепой зверь, ибо он прозреет, освободится и отомстит за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силою животного укрепить свою власть; оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны — в свободе народа, только его сила может победить темную силу государства. Поймите — нет иной страны, где бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости, в этом торжестве — красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой!..»

— Терпи! — сказал русскому обществу Достоевский своей речью на открытии памятника Пушкину.

— Самосовершенствуйся! — сказал Толстой и добавил: — Не противься злу насилием!..

...Есть что-то подавляюще уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке в этой проповеди терпения и непротivления злу. Ведь два мировых гения жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьяненный безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью.

И этим замученным людям говорили:

— Не противьтесь злу! Терпите!

И красиво воспевали их терпение. Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно.

Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален.

Одно из свойств мещанской души — раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. Если некто однажды подал мещанину от щедрот своих милостыню внимания, — мещанин делает благодетеля кумиром и кланяется ему, точно нищий лавочнику. Но это только до поры, покуда кумир живет в гармонии с мещанскими требованиями, а если он начнет противоречить им, — что бывает крайне редко, — его сбрасывают с пьедестала, как мертвую ворону с крыши. Вот почему писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя, — человеку приятно быть идиолом.

Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне: «Как? Толстой? Достоевский?»

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрашие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах и, любуясь его невыносимо тяжелой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая — косвенно: проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания...

Это — преступная работа, она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи заблуждений, она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично — душа мещанина спокойна. Он — индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха.

В древности еврейский мудрец Гиллель дал человеку удивительно простую и ясную формулу индивидуального и социального поведения.

«Если я не за себя, — сказал он, — то кто же за меня? Но если я только за себя — зачем я?»

Мещанин охотно принимает первую половину формулы и не может вместить другой.

Есть два типа индивидуализма: индивидуализм мещанский и героический.

Первый ставит «я» в центре мира — нечто удивительно противное, напыщенное и нищенское. Подумайте, как это красиво — в центре мира стоит жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый, всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события, «я» для этого паразита — все!

Второй говорит: «Мир во мне; я все вмещаю в душе моей, все ужасы и недоумения, всю боль и радость жизни, всю пестроту и хаос ее радужной игры. Мир — это народ. Человек — клетка моего организма. Если его бьют — мне больно, если его оскорбляют — я в гневе, я хочу мести. Я не могу допустить прими-

рения между поработителем и поработленным. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трения их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, — мое личное горе. Я есть человек, нет ничего, кроме меня».

Это миропонимание, утонченное и развитое до красоты и глубины, которой мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинного и единственно законного хозяина жизни, ибо строит ее он. Это миропонимание в русской литературе не отражалось. Она вообще не могла создать героя, ибо героизм видела в пассивности, и если пыталась изобразить активного человека, — это выходило бескровно и бесцветно даже у такого красивого и крупного таланта, как Тургенев. Только яркий и огромный Помяловский глубоко чувствовал враждебную жизни силу мещанства, умел беспощадно правдиво изобразить ее и мог бы дать живой тип героя, да Слепцов, устами Рязанова, зло и метко посмеялся над мещанином...

Восьмидесятые годы были временем полного торжества мещан, и, как всегда, они торжествовали злобно, но скучно и бесцветно. Со слезами восторга прослушали речь Достоевского, и она успокоила их. Терпение ни к чему не обязывало мещан, но его можно было рекомендовать народу. Они, конечно, спокойно сложили бы бессильные, хоть и жадные руки, но совесть — эта кожная болезнь мещанской души — настойчиво указывала на необходимость вооружения народа оружием грамоты, и некая, небольшая часть их видела свое одиночество в стране, где так мало грамотных людей, которые могли бы играть для мещан роли слушателей, собеседников, читателей, потребителей газет, книг и прочих продуктов высшей деятельности мещанского духа. Мещанин любит философствовать, как лентяй удить рыбу, он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия — занятие, видимо, не налагающее никаких обязанностей к народу и как нельзя более уместное в стране, где десятки миллионов человекоподобных существ в пьяном виде бьют женщин пинками в животы и с удовольствием таскают их за косы, где вечно голодают, где целые деревни гниют в сифилисе, горят, ходят — в виде развлечения — в бой на кулачки друг с другом, при случае опиваются водкой и во всем своем быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей... Итак — мещане все-таки поняли необходимость увеличить свою армию и взялись за дело.

Раздался успокаивающий и довольный крик — истинно мещанский пароль: «Наше время — не время широких задач!»

И наскоро создали пошлый культ «мелких дел» — воистину мещанский культ. Какая масса лицемерия была вложена в этот культ, и сколько было в нем самообожания!

Другая группа мещанства — быть может, более искренняя в своем желании оправдать печальный и постыдный факт своего бытия — пошла на зов Толстого. Началось «самосовершенствование», этот жалкий водевиль с переодеваньем. В стране, где люди еще настолько не разумны, что пахут землю деревянной сохой, боятся колдунов, верят в чёрта, — в этой грустной и бедной стране грамотные люди, яроудствуя идеи ради, стали отрицать разум. Подвергли науку наивной и убогой критике. Отрицали искусство, отрицали красоту, одевались в крестьянское платье и немелыми руками ковыряли бесплодную землю, всячески стараясь приблизиться к дикарю и называя это самоистязание «опрощением». Дикий, но совсем не глупый мужик смотрел на чудаков и пренебрежительно усмехался, не понимая мотивов странного и смешного поведения господ. Иногда, раздраженный своей тяжелой жизнью, выпивший водки, мужик обижал опрощенцев, но они «не противились злу» и этим вызывали к себе искреннее презрение мужика.

Так вело себя мещанство совестливое, а масса его — жадная и наглая — открыто торжествовала победу грубой силы над честью и разумом, цинично добивая раненых. Она создала из клеветы, грязи и лицемерной угодливости победителю некий форт для защиты своего положения в жизни, в него засели довольно талантливые языкоблуды, навербованные по преимуществу из ренегатов, и дружно принялись заливать клеветой и ложью все, что еще горело в русской жизни.

Погибли «Отечественные записки», и один из ренегатов проводил их в могилу гаденькой усмешкой:

— Пела-пела пташечка да замолкла. Отчего ж ты, пташечка, приуныла?

Эти потомки крови Иуды Искарюта, Игнатия Лойолы и других христорпродавцев, охваченные болезненной жаждой известности, но слишком ничтожные для того, чтобы создать нечто крупное, скоро почувствовали свое бессилие быть вождями и сделались растлителями мещанства. Открыто брызгая пахучей слюной больных верблюдов на все мало-мальски порядочное в русской жизни, они более четверти века развращали людей поведением ненависти к инородцам, лакейской услужливости силе,

проповедью лжи, обмана, — и нет числа преступлениям их, нет меры злу, содеянному ими. Малограмотные и невежественные, они судили обо всем всегда «применительно к подлости», всегда с желчью неудачников на языке. Некоторые из этих желчных честолюбцев еще и теперь старчески ползают по страницам своей газеты, но это уже змеи, потерявшие яд. Безвредные гады, они вызывают только чувство отвращения к ним своими бессильными попытками сказать еще что-нибудь гнусное и развратное, еще раз подстрекнуть кого-то на преступление...

Но все это известно, и обо всем этом так же противно и стыдно говорить, как о насилии над женщиной, как о растлении ребенка, и хочется поскорее подойти к поведению мещанства сегодня, в наши трагические дни...

Однако справедливость побуждает указать, что наиболее жизнеспособные мещане шли и в революцию. Они понимали, что толкнутся в тесных развалинах старой тюрьмы, выстроенной подневольным трудом, у них не было определенной позиции в темном хаосе русской жизни, жизнь их была бесцветна и скучна. И они пошли в революцию охотно, но — как спортсмены-англичане ездят из Лондона на Каспий бить диких уток. Со временем мы увидим этих господ среди работников революции, где они, вместе с господами Кукшиными, производят неприятный шум, вредную суету и путаницу, увидим, как они, органически с народом не связанные, чуждые ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, меняли свои взгляды, вызывая этим тяжелые недоумения в головах своих учеников и отрицательное, враждебное отношение у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции.

Рядом со всеми этими попытками маленьких, трусливых людей уклониться от суровых требований действительности в тихую область мечтаний или удобно встать где-либо с краю жизни в качестве зрителя, наблюдающего ее драмы, рядом с иезуитской суетой мещанства — бесстрастно шла железная работа капитала, математически правильно сортировавшего людей на две резко враждебные группы, а в красных корпусах фабрик и заводов, под гулкой шум машин, воспитывалась новая, могучая, истинно жизненная сила, та сила, которой ныне все мещане обязаны своим освобождением из тесной клетки государства и для которой они готовы создать другую клетку, попрочнее той, где они сами сидели. Мещанин в политике ведет себя, как вор на пожаре, — украл перину, снес ее домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за угла...